

ПРИЕМЫШ

Владимир Галактионович Короленко

В.Г.Короленко, «Избранное»
Издательство «Вышэйшая школа», Минск, 1984
OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru),
25 мая 2002 года

Ранним утром, почти на заре, когда белый туман покрывал еще Святое озеро сплошным мягким покровом, мы прошли мимо его берегов, направляясь к Керженцу.

В полдень мы были уже в большом селе Быдреевке и бродили по берегу Керженца, стараясь достать лодку, чтобы спуститься по течению реки к Волге.

Дело оказалось нелегкое. Какой-то белокурый мужик уверял меня, что у него есть чудесная лодка.

- Уж я, ваше степенство, знаю, что вам надо. Мой ботничок в час до неба сомчит... В сутки - к Макарью...

Но едва мы уселись в него и отпихнулись от берега, - ботник заслезился изо всех щелей, закричал и тихонько опустился на дно... К счастью, катастрофа случилась недалеко от берега...

- Недорого и взял бы, - с искрой исчезающей надежды сказал мужик. - Ботник легкой, - сухо закончил он, пинком ноги придавая ветерану прежнее положение на песчаной косе. - Лучше этого ботника нигде не достанете.

В конце концов мы все-таки нашли то, что нам надо, но для этого пришлось спуститься вниз по реке, откуда уже не было видно ни Быдреевки, ни большого тракта, по которому звенят колокольцы, ни длинного моста с телеграфными столбами.

Времени прошло немало, когда мы уселись в наш корабль, спустившись с берегового крутояра. Наша лодка тихо двинулась вниз по течению, и сразу Керженец охватил нас своей тихой, задумчивой и сумрачной красотой.

Река узка... Темная струя несет лодку меж высокими берегами, точно в глубокой щели. Лучи склоняющегося солнца золотят острые верхушки елей на левом берегу. На правом - ветлы мочат в воде свои бледно-зеленые ветви. Тихо качаются белые и желтые кувшинки, и дальний лай собак или одинокий крик петуха несется откуда-то из невидных с реки деревень...

Я бросил весла и только порой направляю лодку, когда она подплывает к ветлам, и ветки бьют меня по лицу... Я знаю, что стоит мне подняться на высокий берег, и я, может быть, опять увижу Быдреевку и ее длинный мост, по которому тянутся обозы и летают почтовые тройки из Семенова на Вятку...

Но здесь не видно телеграфных столбов, не слышно почтовых колокольчиков... Налево - в реку заглядывает с яра дремучий лес, направо - шелест идет по траве да мать-мачеха хлопает по ветру своими бледно-зелеными листьями... Снизу они белы, пушисты и мягки, как прикосновение материнской руки. Сверху зелены и холодны. Это - мачеха.

Солнце сильно склонилось и совсем исчезло с реки, а лодка все плыла вниз, не встречая на берегу живого существа... Наконец - еще поворот, и она вышла на широкое плесо. Песчаная коса сильно вдавалась в течение реки. На косе виднелся рыбацкий челнок, а у челнока босая девочка лет восьми возилась с тяжелым для нее веслом и рыбацкими снарядами.

Я шевельнул веслом, и наша лодка уткнулась в отмель с другой стороны...

Девочка повернулась. Ее синие глаза стали круглее, губы опустились книзу, и весло выпало из рук.

- Не бойся, умница, - сказал я помягче. - Мы тебе дурного не сделаем. Скажи, как поближе пройти в вашу деревню...

- Э-эвона... деревня-то...

Действительно, сделав несколько шагов, я увидел из-за кустов избушки деревни, сверкавшей окнами на вечернем солнце.

- А тебе кого? - спросила девочка смелее и с любопытством.

- Да нам бы вот чаю напиться, да, может, переночевать... Дело к вечеру, а плыть нам далеко.

- Переночевать? Ступай к Дарье Ивановне.

- А где она?

- Дарья Ивановна-то? Да ты Дарью Ивановну разве не знаешь?

- Да я здесь не бывал никогда...

- Ну, не бывал, так где тебе и знать. Погоди, мужик ейный, Дарьи Ивановнин, тут недалече. Тятка, ау! Степан Федора-а-ач! - крикнула она нараспев, повернувшись к реке.

- А-а-а-ау! - отозвался откуда-то издали глухой мужичий голос.

- Подь, Степан Федора-а-ач, суда-у!..

Через минуту на берегу показалась фигура мужика, без шапки, с лохматыми волосами, босого и с грудью сетей на спине. Он шел, опустив голову, покачиваясь, будто сонный, и несколько раз споткнулся на ходу. Девочка смотрела на него смеющимися глазами.

- Вишь, шатает его. Ты, может, подумаешь - пьяный он! Нет, не пьяный, а ночи не спит, - все на реке, на сеже, сидит - рыбачит. Снял у мужиков воды в кортома¹, вот тут повыше омутов. Мамка, Дарья Ивановна, говорит: «Не снимай», а он не послушался: «Сниму», - говорит. Пять рублей отдал. А рыба, слышь, и нейдет к нему... Вот он и старается...

- Да он тебе тятка, что ли? - спросил я, удивляясь, что она зовет мужика то тяткой, то по имени и отчеству.

Девочка не ответила. В это время рыбак, немолодой, угрюмого вида, подошел уже к нам; не скидая сетей, он остановился, посмотрел на меня отяжелевшими от бессонницы глазами и спросил:

- Чьи будете?

- Нижегородский, - ответил я. - Мне бы переночевать.

- Можно. Ступай, когда так, за мной.

И он пошел вперед, все так же спотыкаясь на ходу, будто вот-вот свалится и заснет у тропинки.

- Опять ни одной рыбешки не поймал, - сказала девочка. - Мотри, свалишься еще...

Мужик промолчал. Мы вошли в улицу небольшой деревнюшки. Окна ее смотрели на реку, а задворки подходили вплоть к лесной опушке.

«Глухой, медвежий угол», - подумал я невольно, взглядывая на своего сурового провожатого.

Хозяйка Дарья Ивановна встретила нас, впрочем, очень приветливо и радушно.

Это была совсем еще молодая на вид женщина, с ласковыми, спокойными приемами и добрыми красивыми глазами, в которых по временам, когда она взглядывала на дремотного мужика, искрилась лукавая усмешка, как и у девочки. Степан Федорыч как-то уныло уселся на лавке и клевал носом.

¹ В аренду

- Много ли наловил? - спросила хозяйка и переглянулась с девочкой; обе при этом улыбнулись. - Эх ты, горе-рыбак! Слушался бы меня, лучше бы было.

- Говори! - ответил Степан угрюмо. - Вот пойдет из омутов – поспевай только вынимать.

- Неужто опять сидеть станешь всю ночь?

- Пойти изготовить снасть.

Упрямый мужик поднялся и сонно поплелся из избы, а хозяйка стала хлопотать около самовара. Девочка помогала матери.

- Дочка-то как на тебя похожа, - сказал я, - только глаза да волосы посветлее.

Женщина как-то странно улыбнулась и покраснела.

- А старик муж тебе?

Она покраснела еще больше, до самых ушей, и даже закрыла лицо широким узорно расшитым рукавом.

- Муж. Да он и не стар еще годами-те против меня. Работа да горе!.. Да теперь вот суется еще, как сонная муха, - почитай, неделю не спит: с рыбой связался... Забота! А пуще всего кручина извела его, как сынок у нас помер. Двадцатый год пойдет с филипповок, как в сыру землю Мишаньку уложили.

- Двадцатый год? - удивился я, глядя на зардевшееся румянцем моложавое лицо Дарьи Ивановны.

- Да мне ведь уже сорок два года... Никто не верит... И то еще горе извело. Сколь много слез мы пролили... Детей господь батюшка больше не дал.

- А девочка эта?

- То-то вот, говоришь ты: «похожа»! А она у меня богоданная, приемыш, - сказала Дарья Ивановна, ласково и как-то серьезно глядя рукой белокурую головку прильнувшей к ней девочки. - Да все меня, дурушка, мамкой зовет, а у нее ведь и родная-то мать жива... Так ту, слышь, долго все «чужой тетей» звала. Насилу я ее, дурочку, выучила. Грех ведь! Вот теперь две мамки у нее.

Да и у меня она тоже за двух: за дочку богоданную, да за сыночка родного, за Мишаньку...

Она вздохнула, и выражение глубокой грусти тихо легло на лицо, сменяя стыдливый румянец. Тонкими пальцами загорелой руки она перебирала сборки на рукаве прижимавшейся к ней девочки. Девочка затихла и смотрела ей в лицо снизу вверх, как будто ждала дальнейшего рассказа про умершего мальчика.

Было что-то глубоко захватывающее в молчании матери, посвященном любимой тени.

- Уж и красавчик был, уж и умной, - сказала она, разведя самовар и присаживаясь к столу. - Не я одна скажу, - кто знал, все дивились на него.

Разговор имел приятный да степенный, иному взрослому впору, да и то еще кто поумнее... Право. Бывало, сторонние люди зайдут, послушают, так только головами качали. Если, мол, бог этому младенцу дозволит в возраст взойти, - увидят от него родители себе утеху. Да, вишь, господь-то батюшка...

Она низко опустила голову и прижала девочку к груди, как будто в том месте у нее заболела старая рана.

- Ему, батюшке, сказывают, самому этакие нужны... Как во гробике-то лежал, уж мы плакали, плакали... Потом в пустой-те избе - тоже... Ровно свет из дому навек ушел... Он (мужа она называла в третьем лице) - он у меня извелся с той поры, - постарел, глазами ослаб... все от слезы-те. Днем-то, знаешь, стыдно, крепится перед людьми, а ночью и не выдержит, и завоет... Я за ним... Так вот и шло у нас все, - плачем да тоскуем. Уж люди - и то говорили: «Спокою вы

младенцу своему на том свету не даете; нешто можно этак?» Да что ты поделаешь, - нет сердцу укороту нисколько. Пять годов прошло, а легче нет... Только раз ночью, - вздремнула я маленько, - слышу, кто-то по избе прошел... Дунуло на меня, повеяло чем-то, стала я ни жива ни мертва. «Миша, родной! Ты, что ли, это?...» А сердце-те бьется, что пташка подстрелена, - вот умру, вот умру...

- Я, говорит, мамонька. Пришел к тебе, - послушай ты меня, что я скажу: не избыть тебе грешной тоски, не укоротить сердца, не дашь ты и мне покою-радости, поколь на сердце кого-нибудь не положишь...

- Мишанька, голубчик моя, кого ж мне на сердце положить, нет тебя, ненаглядного соколика... До конца веку не избыть мне горяшка... - Сама плачу, руками тянусь, а в избе никогошенько не вижу. Услышал тут он у меня.

- Дарья, с кем, мол, баешь? - Рассказала я ему: «Вот с кем я баяла, Стенав Федорыч».

- Молись, говорит, богу. Видно, и впрямь грешно этак-то...

Наутро стали мы вспоминать да умом раскидывать. Видно, мол, надо приемыша взять, - к тому речь была Мишанькина, ни к чему боле. По первоначалу-то будто противно подумать, ровно чужому Мишанькино добро отдавать. Потом свыклась. Только все с ним согласу не было. Он говорит: «Мальчика взять», а я думать не могу. Ему-то, вишь, лестно, что помощник будет, а мне как вспомнится Миша, так все парни опротивеют. Где же этакому другому быть, как он был! Только сквернословие да непочтение, - на это их возьми. Так и шло у нас все: все примериваем, да спорим, да тоскуем.

Да, вишь, привел бог, по-моему вышло. Видно, по Мишанькиному заступлению помиловал нас господь батюшка... Это за рекой, в деревнюшке, принесла девка младенца... Согрешила, бедная, да уж и муки же приняла: в семействе и прежде у них неладно было, - мачеха лютая и то со свету сживала, а тут - и-и, боже мой! - чего натерпелась девонька моя. Известно, мачехи-те редко хорошие живут. По-настоящему-то рассудить, так, может, и тот девкин грех мачехе замаливать надо. Потому что - первое дело: ейное несмотрение, второе дело: иная девка от невзгодья от одного, дома-то свету-радости не видя, на грех пойдет. Тоже ведь - живой человек, тоже ласки захочет. Ну, и поверит наша сестра другому подлецу. А там и плачь всю жизнь, проклинай свою девичью долю, непокрытую, а он, хахалишко, известно, другую дуру обманывает...

Так вот и с ней. Принесла ребеночка, - мачеха с глаз долой согнала. В чужих людях жить, сам знаешь, с ребенком-те маята, да еще все смеются, да ото всех бесчестье да попреки... Бьется, бедная, бьется, до того, говорит, добилась, что взять младенца на руки да в омут головой и с ребенком-те.

Только женщина попалась ей одна из нашего села и научила. «Вот что, говорит: Степан у нас Федоров с Дарьей Ивановной больно об сыне тоскуют.

Попытай им отдать младенца. Ежели, говорит, судил ей бог судьбу, то не иначе, что у них судьба эта находится...»

Ну, вот уехал мой Степан Федоров в лес, одна я ноченьку ночевала, одна-одинешенька с теской со своей... Лежу на полатах, - спать не сплю, все думаю. Только слышу - мимо избы прошел кто-то. Слушаю-послушаю, нет будто никого. Да вдруг кто-то в оконце стукнул раз и другой. Подошла я к окну, - ночь лунная, ясная, на траве каждая тебе росинка видна, а под окном никого...

Упало у меня сердце, отошла я от окна - к стенке прислонилась. Вдруг рука опять, да по стеклу, тихонечко стук-стук. Я к окну - гляжу: у стенки кто-то жметя, хоронится. Присела я на лавку, - господи, что такое? А сердце-то колотится... Ну вот, ровно в ту ночь, когда Мишанька приходил.

Встала я, перекрестилась и говорю:

- Кто тут хоронится? Выходите, коли добрые люди!

Выходит тут перво-наперво наша деревенская старушка к окну. «Не бойся, говорит, Дарья, не с худым пришли». А та все жметя... И вижу я - у той полотенчиком на груди ребеночек подвязан... Господи батюшка! Потемнело у меня в глазах, ноженьки задрожали, руками за лавку держусь, - а то бы упала.

Вспомнила свою Мишаньку... Думаю: «Вот она, судьба ко мне идет». Замуж шла, - где тебе: далеко этакого страху не было.

Подошла наша женщина к окну. «Пусти, говорит, Ивановна».

- Пошто, говорю, вас ночь-полночь в избу пускать?.. - Ну, да сама все-таки дверь отворяю, огня не вздуваючи, - только месяц полный в окна светит. Переступили они порог, а я стою перед ней, перед девкой-то, ни жива ни мертва, ровно казнить-миловать она меня пришла. И стыдно-то мне, и страшно-то, и боюсь: ну, вдруг возьмет да уйдет она от меня? А младенец-то спит у ней в полотенчике - не слышит...

Ну, женщина наша и говорит ей: «Кланяйся, девка, в ноги!..»

Поклонилась она мне в ноги да у ног ребеночка положила, припала к нему, плачет. Подняла я ее, ребеночка принимаю; горит у меня в руках, не знаю - брать, не знаю - не брать... И она-то... сама отдает, сама держит... и обе мы плачем...

Ох, и помню я, добрые люди, ту ноченьку месячную, не забыть мне ее будет до конца моей жизни...

На заре ушли они; обмыла я дитю, обрядила. Свою рубаху тотчас перешила, уложила ребенка в корзиночку... Сижу, жду его, Степана-то моего Федоровича.

И опять мне, молодой, стыд, да боязно, да заботушка. Ровно вот без мужа ребенка принесла, право. Вижу: приехал, идет ко крыльцу, - я не встречаю, не привечаю - сижу на лавке. Вошел он в избу, - ребенок как раз и скричи...

- Это, мол, что такое?

- Это, мальчика, говорю, бог тебе послал, Степан Федорыч...

Поди вот! И зачем солгала перед ним - не знаю, не ведаю. А уж где тут обмануть, - на минуту одну не обманешь: и рубашонка-то по женски надвое сшита. Подошел он к корзине, поглядел...

- Какой это мальчик! Девочку взяла...

Больше ничего не сказал...

Она опять замолчала, тихо улыбаясь при воспоминании о своем Степане Федоровиче, которого она переупрямила и хотела еще обмануть. Мне вспомнилось суровое лицо хозяина, и теперь оно показалось мне гораздо приятнее.

- Мамка, - тихо спросила девочка, отводя лицо от ее груди.

- Что, Марьюшка?

- Что ж ты не баешь. Это я была - девочка-то?

- Ты, ты и была, глупая. Уж который раз спрашивает... Никакой ты ей сказки не сказывай, а все одно... Не переслушает... А уж и горя-те, и маяты-те что я с тобой приняла! Просто не приведи создатель. Хворая была, да скверная, да вся в струпьях, да все криком кричит, бывало, от зари до зари.

Сердце все, что есть, изболело у меня с нею. Ночь бьешься-бьешься, силушки нету. «Изведешься ты у меня, Дарья, - говорит, бывало, Степан-то Федорыч. - Не позволяю тебе, говорит, этак-то изводиться. Завтра же носи ее к матери».

Ну, тут уж я молчу, не поперечу. А день придет, я опять: «Подождем еще, что будет, что господь даст». Он у меня отходчив - Степан-от Федорыч - и махнет рукой...

Она помолчала, тихо улыбаясь.

- Сказывал мне после старичок один - умный старик: «Это, говорит, ты так понимай, что господь батюшка в болезнях младенца милость к тебе являл.

Нешто чужая девочка стала бы тебе за родного сына, которого ты под сердцем носила, ежели бы не переболело у тебя из-за нее все сердечушко-то заново...»

Пожалуй, и правда это: я ее в утробе не носила, грудью не кормила, так зато слезой изошла да сердцем переболела. Оттого иная и мать не любит так, что я ее, приемыша свою, люблю. Это хворь по детям ходила, ударило и ее у меня этой хворью. Уж я плакала-плакала... «Господи батюшка, - думаю себе, - и отколь у меня столь много слез за нее, откуда только льется их такая сила...»

Она смолкла... Девочка тянулась к ней с улыбкой баловницы-дочери. За окном чирикала какая-то вечерняя птичка, и, казалось, последний луч солнца медлил уходить из избы, золотя белокурую голову ребенка, заливая ярким багрянцем раскрасневшееся лицо поздней красавицы, любовью и болью сердечной завоевавшей себе новое материнство...

В сенях послышались медлительные шаги Степана Федоровича. Он вошел в избу и остановился на пороге.

- Самовар-то, гляди, у тебя убежал. Эх вы, - хозяйки... Собирай, что ли, на стол...

Дарья вскочила и, все еще взволнованная своим рассказом, принялась накрывать на стол...

Примечания

Летом и осенью 1890 г. Короленко написал цикл очерков «В пустынных местах» (их всего 8), которые печатались в газете «Русские ведомости» (Москва), 1890, № 211, 223, 234, 253, 255, 263, 269, 297, 335 и 353, с подзаголовком: «Из поездки по Ветлуге и Керженцу». Третий очерк этого цикла озаглавлен «Приемыш».